

Источник: Поппер К. Логика и рост научного знания: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1983. С. 240-245.

Когда я получил список слушателей этого курса и понял, что мне предстоит беседовать с коллегами по философии, то после некоторых колебаний я решил, что, по-видимому, вы предпочтете говорить со мной о тех проблемах, которые интересуют меня в наибольшей степени, и о тех вещах, с которыми я лучше всего знаком. Поэтому я решил сделать то, чего никогда не делал прежде, а именно рассказать вам о своей работе в области философии науки, начиная с осени 1919 г., когда я впервые начал искать ответ на вопрос о том, "когда теорию можно считать научной?", или по-иному — "существует ли критерий научного характера или научного статуса теории?"

В то время меня интересовал не вопрос о том, "когда теория истинна?", и не вопрос "когда теория приемлема?" Я поставил перед собой другую проблему. Я хотел провести различие между наукой и псевдонаукой, прекрасно зная, что наука часто ошибается и что псевдонаука может случайно на толкнуться на истину.

Мне был известен, конечно, наиболее распространенный ответ на мой вопрос: наука отличается от псевдонауки — или от "метафизики" — своим эмпирическим методом, который по существу является индуктивным, т.е. исходит из наблюдений или экспериментов. Однако такой ответ меня не удовлетворял. В противоположность этому свою проблему я часто формулировал

как проблему разграничения между подлинно эмпирическим методом и не эмпирическим или даже псевдоэмпирическим методом, т.е. методом, который, хотя и апеллирует к наблюдению и эксперименту, тем не менее не соответствует научным стандартам. Пример использования метода такого рода дает астрология с ее громадной массой эмпирического материала, опирающегося на наблюдения, — гороскопы и биографии.

Однако не астрология привела меня к моей проблеме, поэтому я коротко опишу ту атмосферу, в которой она встала передо мной, и те факты, которые в тот период больше всего интересовали меня. После крушения Австро-Венгрии в Австрии господствовал дух революции: воздух был полон революционных идей, лозунгов, новых и часто фантастических теорий. Среди интересовавших меня в ту пору теорий наиболее значительной была, без сомнения, теория относительности Эйнштейна. К ним же следует отнести теорию истории Маркса, психоанализ Фрейда и так называемую "индивидуальную психологию" Альфреда Адлера.

Немало общеизвестных глупостей высказывалось об этих теориях, и в особенности о теории относительности (что случается даже в наши дни), но мне повезло с теми, кто познакомил меня с этой теорией. Все мы — тот небольшой кружок студентов, к которому я принадлежал, — были взволнованы результатом наблюдений Эддингтона, который в 1919 г. получил первое важное подтверждение эйнштейновской теории гравитации. На нас это произвело огромное впечатление и оказало громадное влияние на мое духовное развитие.

Три других упомянутых мной теории также широко обсуждались в то время среди студентов. Я лично познакомился с Адлером и даже помогал ему в его работе среди детей и юношей в рабочих районах Вены, где он основал клиники социальной адаптации.

Летом 1919 г. я начал испытывать все большее разочарование в этих трех теориях — в марксистской теории истории, психоанализе и индивидуальной психологии, и у меня стали возникать сомнения в их научном статусе. В начале моя проблема вылилась в форму простых вопросов: "Что ошибочного в марксизме, психоанализе и индивидуальной психологии?", "Почему они так отличаются от физических теорий, например от теории Ньютона и в особенности от теории относительности?"

Для пояснения контраста между этими двумя группами теорий я должен заметить, что в то время лишь немногие из нас могли бы сказать, что они верят в истинность эйнштейновской теории гравитации. Это показывает, что меня волновало не сомнение в истинности трех других теорий, а нечто иное. И даже не то, что математическая физика казалась мне более тонкой, чем теории социологии или психологии. Таким образом, то,

что меня беспокоило, не было ни проблемой истины — по крайней мере в то время, — ни проблемой точности или измеримости. Скорее я чувствовал, что эти три другие теории, хотя и выражены в научной форме, на самом деле имеют больше общего с примитивными мифами, чем с наукой, что они в большей степени напоминают астрологию, чем астрономию. Я обнаружил, что те из моих друзей, которые были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под впечатлением их явной объяснительной силы. Казалось, эти теории способны объяснить практически все, что происходило в той области, которую они описывали. Изучение любой из них как будто бы приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвященных. Раз ваши глаза однажды были раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон верификациями теории. Все, что происходит, подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении.

Наиболее характерной чертой данной ситуации для меня выступает не прерывный поток подтверждений и наблюдений, "верифицирующих" такие теории. Это постоянно подчеркивается их сторонниками. Сторонники психоанализа Фрейда утверждают, что их теории неизменно верифицируются их "клиническими наблюдениями". Что касается теории Адлера, то на меня большое впечатление произвел личный опыт. Однажды в 1919 г. я сообщил Адлеру о случае, который, как мне показалось, было трудно подвести под его теорию. Однако Адлер легко проанализировал его в терминах своей теории неполноценности, хотя даже не видел ребенка, о котором шла речь. Слегка ошеломленный, я спросил его, почему он так уверен в своей правоте. "В силу моего тысячекратного опыта", — ответил он. Я не смог удержаться от искушения сказать ему: "Теперь с этим новым случаем, я полагаю, ваш тысячекратный опыт, по-видимому, стал еще больше!"

При этом я имел в виду, что его предыдущие наблюдения были не лучше этого последнего — каждое из них интерпретировалось в свете "предыдущего опыта" и в то же время рассматривалось как дополнительное подтверждение. "Но, — спросил я себя, — подтверждением чего? Только того, что некоторый случай можно интерпретировать в свете этой теории". Однако этого очень мало, подумал я, ибо вообще каждый мыслимый случай можно было бы интерпретировать в свете или теории Адлера, или теории Фрейда. Я могу проиллюстрировать это на двух существенно различных примерах человеческого поведения: поведения человека, толкающего ребенка в воду с намерением утопить его, и поведения человека, жертвующего жизнью в попытке спасти этого ребенка. Каждый из этих случаев легко объясним и в терминах Фрейда, и в терминах Адлера. Согласно Фрейду, первый человек страдает от подавления, скажем, Эдипова комплекса, в то время как второй — достиг сублимации. Согласно Адлеру, первый человек страдает от чувства неполноценности (которое вызывает у него необходимость доказать самому себе, что он способен отважиться на преступление), то же самое происходит и со вторым (у которого возникает потребность доказать самому себе, что он способен спасти ребенка). Итак, я не смог бы придумать никакой формы человеческого поведения, которую нельзя было бы объяснить на основе каждой из этих теорий. И как раз этот факт — что они со всем справлялись и всегда находили подтверждение — в глазах их приверженцев являлся наиболее сильным аргументом в пользу этих теорий. Однако у меня зародилось подозрение относительно того, а не является ли это выражением не силы, а, наоборот, слабости этих теорий?

С теорией Эйнштейна дело обстояло совершенно иначе. Возьмем типичный пример — предсказание Эйнштейна, как раз тогда подтвержденное результатами экспедиции Эддингтона. Согласно теории гравитации Эйнштейна, тяжелые массы (такие, как Солнце) должны притягивать свет точно так же, как они притягивают материальные тела. Произведенные на основе этой теории вычисления показывали, что свет далекой фиксированной звезды, видимой вблизи Солнца, достиг бы Земли по такому направлению, что звезда казалась бы смещенной в сторону от Солнца, иными словами, на

блюдаемое положение звезды было бы сдвинуто в сторону от Солнца по сравнению с реальным положением. Этот эффект обычно нельзя наблюдать, так как близкие к Солнцу звезды совершенно теряются в его ослепительных лучах. Их можно сфотографировать только во время затмения. Если затем те же самые звезды сфотографировать ночью, то можно измерить различия в их положениях на обеих фотографиях и таким образом проверить предсказанный эффект.

В рассмотренном примере производит впечатление тот риск, с которым связано подобное предсказание. Если наблюдение показывает, что предсказанный эффект определенно отсутствует, то теория просто-напросто отвергается. Данная теория несовместима с определенными возможными результатами наблюдения — с теми результатами, которых до Эйнштейна ожидал каждый. Такая ситуация совершенно отлична от той, которую я описал ранее, когда соответствующие теории оказывались совместимыми с любым человеческим поведением и было практически невозможно описать какую-либо форму человеческого поведения, которая не была бы подтверждением этих теорий.

Зимой 1919/20 г. эти рассуждения привели меня к выводам, которые теперь я бы сформулировал так.

(1) Легко получить подтверждения, или верификации, почти для каждой теории, если мы ищем подтверждений.

(2) Подтверждения должны приниматься во внимание только в том случае, если они являются результатом рискованных предсказаний, т.е. когда мы, не будучи осведомленными о некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с этой теорией, — события, опровергающего данную теорию.

(3) Каждая "хорошая" научная теория является некоторым запрещением: она запрещает появление определенных событий. Чем больше теория запрещает, тем она лучше.

(4) Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной. Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок.

(5) Каждая настоящая проверка теории является попыткой ее фальсифицировать, т.е. опровергнуть. Проверимость есть фальсифицируемость; при этом существуют степени проверяемости: одни теории более проверяемы, в большей степени опровержимы, чем другие; такие теории подвержены, так сказать, большему риску.

(6) Подтверждающее свидетельство не должно приниматься в расчет за исключением тех случаев, когда оно является результатом подлинной проверки теории. Это означает, что его следует понимать как результат серьезной, но безуспешной попытки фальсифицировать теорию. (Теперь в таких случаях я говорю о "подкрепляющем свидетельстве".)

(7) Некоторые подлинно проверяемые теории после того, как обнаружена их ложность, все-таки поддерживаются их сторонниками, например, с помощью введения таких вспомогательных допущений *ad hoc* или с помощью такой переинтерпретации *ad hoc* теории, которые избавляют ее от опровержения. Такая процедура всегда возможна, но она спасает теорию от опровержения только ценой уничтожения или по крайней мере уменьшения ее научного статуса. (Позднее такую спасательную операцию я назвал "конвенционалистской стратегией" или "конвенционалистской уловкой".) Все сказанное можно суммировать в следующем утверждении: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, опровержимость, или проверяемость.

2

Источник: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с нем. АЛ. Никифорова. М.: Прогресс, 1986. С. 153—159.

Это доказывалось и анализом конкретных, исторических событий, и абстрактным анализом отношения между идеей и действием: единственным принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип допустимо все (anything goes).

Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности, сталкивается со значительными трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования. При этом выясняется, что не существует правила — сколь бы правдоподобным и эпистемологически обоснованным оно ни казалось, — которое в то или иное время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случайны и не являются результатом недостаточного знания или невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, что они необходимы для прогресса науки. Действительно, одним из наиболее замечательных достижений недавних дискуссий в области истории и философии науки является осознание того факта, что такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно решили разорвать пути "очевидных" методологических правил, либо произвольно нарушали их. Еще раз повторяю: такая либеральная практика есть не просто факт истории науки — она и разумна, и абсолютно необходима для развития знания. Для любого данного правила, сколь бы "фундаментальным" или "необходимым" для науки оно ни было, всегда найдутся обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже действовать вопреки ему. Например, существуют обстоятельства, при которых вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы *ad hoc*, гипотезы, противоречащие хорошо обоснованным и общепризнанным экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем содержание уже существующих и эмпирически адекватных альтернатив, или просто противоречивые гипотезы и т. п.

Существуют даже обстоятельства — и встречаются они довольно часто, — при которых аргументация лишается предсказательной силы и становится препятствием на пути прогресса. Никто не станет утверждать, что обучение маленьких детей сводится исключительно к рассуждениям (хотя рассуждение должно входить в процесс обучения, и даже в большей степени, чем это обычно имеет место), и сейчас почти каждый согласен с тем, что те факторы, которые представляются результатом рассудочной работы — овладение языком, наличие богатого перцептивного мира, логические способности, — частично обусловлены обучением, а частично — процессом роста, который осуществляется с силой естественного закона. В тех же случаях, где рассуждения представляются эффективными, их эффективность чаще всего обусловлена физическим повторением, а не семантическим содержанием.

Согласившись с этим, мы должны допустить возможность нерассудочного развития и у взрослых, а также в теоретических построениях таких социальных институтов, как наука, религия, проституция и т.п. Весьма сомнительно, чтобы то, что возможно для маленького ребенка — овладение новыми моделями поведения при малейшем побуждении, их смена без заметного усилия, — было недоступно его родителям. Напротив, катастрофические изменения нашего физического окружения, такие, как войны, разрушения систем моральных ценностей, политические революции, изменяют схемы реакций также и взрослых людей, включая важнейшие схемы рассуждений. Такие изменения опять-таки могут быть совершенно естественными, и единственная функция рационального рассуждения в этих случаях может заключаться лишь в том, что оно повышает то умственное напряжение, которое предшествует изменению поведения и вызывает его.

Если же существуют факторы — не только рассуждения, — заставляющие нас принимать новые стандарты, включая новые и более сложные формы рассуждения, то не должны ли в таком случае сторонники *status quo* представить противоположные причины, а не просто контраргументы? ("Добродетель без террора бессильна", — говорил Робеспьер.) И если старые формы рассуждения оказываются слишком слабой причиной, то не обязаны ли их сторонники уступить либо прибегнуть к более сильным и более "иррациональным" средствам? (Весьма трудно, если не невозможно, преодолеть с помощью рассуждения

тактику "промывания мозгов".) В этом случае даже наиболее рафинированный рационалист будет вынужден отказаться от рас суждений и использовать пропаганду и принуждение и не вследствие того, что его доводы потеряли значение, а просто потому, что исчезли психологические условия, которые делали их эффективными и способными оказывать влияние на других. А какой смысл использовать аргументы, оставляющие людей равнодушными?

Разумеется, проблема никогда не стоит именно в такой форме. Обучение стандартам и их защита никогда не сводятся лишь к тому, чтобы сформулировать их перед обучаемым и сделать по мере возможности ясными. По предположению, стандарты должны обладать максимальной каузальной силой, что весьма затрудняет установление различия между логической силой и материальным воздействием некоторого аргумента. Точно так же, как хорошо воспитанный ученик будет повиноваться своему воспитателю независимо оттого, насколько велико при этом его смятение и насколько необходимо усвоение новых образцов поведения, так и хорошо воспитанный рационалист будет повиноваться мыслительным схемам своего учителя, подчиняться стандартам рассуждения, которым его обучили, придерживаться их независимо оттого, насколько велика путаница, в которую он погружается. При этом он совершенно не способен понять, что то, что ему представляется "голосом разума", на самом деле есть лишь каузальное следствие полученного им воспитания и что апелляция к разуму, с которой он так легко соглашается, есть не что иное, как политический маневр.

Тот факт, что заинтересованность, насилие, пропаганда и тактика "промывания мозгов" играют в развитии нашего знания и науки гораздо большую роль, чем принято считать, явствует также из анализа отношений между идеей и действием. Предполагается, что ясное и отчетливое понимание новых идей предшествует и должно предшествовать их формулировке и социальному выражению. ("Исследование начинается с проблем", — говорит Поппер.) Сначала у нас есть идея или проблема, а затем мы действуем, т.е. говорим, создаем или разрушаем. Однако маленькие дети, которые пользуются словами, комбинируют их, играют с ними, прежде чем усвоят их значение, первоначально выходящее за пределы их понимания, действуют совершенно иначе. Первоначальная игровая активность является существенной предпосылкой заключительного акта понимания. Причины, препятствующих функционированию этого механизма, у взрослых людей нет. Можно предположить, например, что идея свободы становится ясной только благо даря тем действиям, которые направлены на ее достижение. Создание некоторой вещи и полное понимание правильной идеи этой вещи являются, как правило, частями единого процесса и не могут быть отделены одна от другой

3

Источник: Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 16—24.

Хотелось бы дать здесь первичное представление о том, каким образом это эпистемологическое предприятие может влиять на наше понимание социальной жизни. Рассмотрим еще раз формулировку Бернетом главного вопроса философии. Он спрашивает, какое изменение внесет в жизнь человека тот факт, что его сознание может иметь контакт с реальностью. Давайте сперва попытаемся ответить на этот вопрос в более простой форме: ясно, что люди действительно решают, как они должны вести себя на основании их мнения о том, что представляет собой мир вокруг них. Например, чело век, который должен успеть на ранний утренний поезд, поставит свой будильник сообразно своему представлению о времени, в которое должен отойти этот поезд. (Если кто-то захочет возразить против этого примера по причине его тривиальности, позволим ему подумать о том, какие изменения вносит в человеческую жизнь существование

будильников, ходящих по расписанию поездов и методов определения истинности утверждений о времени отхода поездов и так далее.) Философию в данном случае интересует следующий вопрос: что включается в понятие "иметь знание" о фактах, подобных этому, и что представляет собой общая природа поведения, решение о котором принимается в соответствии с таким знанием?

Природа данного вопроса, возможно, станет более ясной, если сравнить его с другим вопросом по поводу важности знания мира, каков он есть в человеческой жизни. Имеется в виду этический вопрос, так хорошо разработанный в пьесах Ибсена "Дикая утка" и "Приведения": насколько важным для человеческой жизни является тот факт, что он должен прожить ее, четко осознавая факты собственной ситуации и собственные отношения с окружающими? В "Приведениях" данный вопрос представлен рассмотрением человека, чья жизнь подвергается разрушению из-за игнорирования им правды о своей наследственности. "Дикая утка" начинается иначе: здесь мы встречаем человека, полностью удовлетворенного жизнью, которая тем не менее основана на полном непонимании им отношения к нему тех, кого он знает, — должен ли он быть лишен своей иллюзии и счастья в интересах истины? Необходимо отметить, что наше понимание обеих ситуаций зависит от нашего признания *prima facie* важности понимания ситуации, в которой человек живет. Вопрос в "Дикой утке" не в том, важно ли это или нет, а в том, важнее ли это счастья.

Интерес эпистемолога в таких ситуациях состоит в том, чтобы пролить свет на то, почему такое понимание должно иметь важное значение в жизни человека, показав, что включается в такое понимание. Используя кантовскую фразу, его интерес состоит в вопросе: каким образом такое понимание (или, на самом деле, любое понимание) возможно. Для ответа на этот вопрос необходимо показать центральную роль, которую играет концепция понимания в видах деятельности, характерных для человеческого общества. Так, дискуссия о том, что составляет понимание реальности, переходит в дискуссию о различии, которое можно ожидать от обладания таким пониманием, которое вносится в жизнь человека. А это опять-таки включает в себя рассмотрение общей природы человеческого общества и, таким образом, анализ понятия "человеческого общества".

Социальные отношения человека к себе подобным смешаны с его идеями о реальности. На самом деле, выражение "смешаны" в данном случае представляет собой недостаточно сильное слово: социальные отношения являются выражениями идей о реальности. В вышеупомянутых ситуациях у Ибсена, например, было бы невозможно выразить отношения персонажа к окружающим его людям, кроме как в терминах его идей о том, что они думают о нем, что они делали в прошлом, что они скорее всего сделают в будущем и т.д.; а в "Приведениях" — идей персонажа о том, как он биологически соотносится с ними. С другой стороны, монах имеет определенные характерные социальные отношения со своими братьями и с мирянами, но было бы невозможно дать более чем легкий набросок этих отношений, без учета религиозных идей, вокруг которых вращается жизнь монаха.

Сейчас становится более понятно, каким образом подход, применяемый здесь, вступает в конфликт с широко распространенным взглядом на социологию и на социальные исследования в целом. Например, он конфликтует с таким взглядом Эмиля Дюркгейма.

"Я считаю крайне плодотворной идею, что социальная жизнь должна объясняться не в понятиях тех, кто участвует в ней, но более глубокими причинами, которые не воспринимаются сознательно, и, полагаю, что эти причины должно искать главным образом в том способе, которым группируются ассоциированные индивидуумы. Кажется, только таким способом история может стать наукой, социология иметь существование". См. анализ Дюркгейма работ А. Лабриолы "Essais sur la conception materialiste de l'histoire" в "Revue Philosophique" за декабрь 1897 г. [рус. пер. см.: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 199—207. — Пер.].

Наш подход противоречит также представлению фон Визе о задаче социологии как науки, дающей описание социальной жизни "несмотря на культурные цели индивидуумов в обществе, с целью изучить влияния, которые они оказывают друг на друга, помимо результата жизни сообщества".

Критической проблемой в данном случае является, конечно, то, насколько осмыслена идея Дюркгейма о "способе, которым группируются ассоциированные индивидуумы" в отрыве от "понятий" о таких индивидуумах, или насколько имеет смысл говорить об индивидуумах, оказывающих влияние друг на друга (в концепции фон Визе) в абстракции от "культурных целей" таких индивидуумов. Мы постараемся отдельно рассмотреть эти центральные вопросы позднее. Сейчас мне просто хотелось бы отметить, что такие предположения действительно противоречат философии, воспринимаемой как исследование природы человеческого знания о реальности и о том различии, которое возможность такого знания вносит в человеческую жизнь.

Правила: анализ Витгенштейна.

Теперь мы должны попытаться дать более детальную картину того, каким образом эпистемологическая дискуссия о человеческом понимании реальности проливает свет на природу человеческого общества и на социальные отношения между людьми. Для достижения этого я предлагаю дать описание того влияния, которое оказало на эпистемологический вопрос обсуждение Витгенштейном понятия "следования правилу" в его "Философских исследованиях".

Вернет говорил о "контакте" сознания с реальностью. Давайте представим очевидный *prima facie* случай такого контакта и рассмотрим, что в него включается. Предположим, что я задаюсь вопросом, в каком году был впервые покорен Эверест. Я думаю про себя: "Гора Эверест была покорена в 1953 году". В данном случае я хочу узнать, что имеется в виду, когда я говорю, что я "думаю о горе Эверест"? Каким образом моя мысль соотносится с вещью, а именно — с горой Эверест, о которой я думаю? Давайте еще более заострим вопрос. Для того чтобы снять сложности, связанные с функцией ментальных образов в таких ситуациях, будем предполагать, что я выражаю свою мысль в словах. Правильным вопросом тогда станет: что есть такого в моем произношении слов "гора Эверест", что делает возможным сказать, что я имею в виду под этими словами определенный пик в Гималаях? (Я ввел данную проблему таким окольным способом для того, чтобы выявить связь между вопросом о природе "контакта", который сознание имеет с реальностью и вопросом о природе значения. Я выбрал в качестве примера слово, которое используется для того, чтобы означить что-либо, такой случай, в котором это слово используется для отсылки к чему-то, не потому, что я придаю какой-либо специальный логический или метафизический приоритет этому типу значения, но потому только, что в таком случае связь между вопросом о природе значения и вопросом об отношении между мыслью и реальностью является особенно впечатляющей.)

Первым естественным ответом на поставленный вопрос является тот, что я способен иметь что-то в виду, говоря слова "гора Эверест", потому что они были определены для меня. Существует большое количество способов, которыми это могло произойти: мне могли показать Эверест на карте, мне могли сказать, что он является самой высокой вершиной мира, или я мог лететь над Гималаями на самолете, и мне показали сам Эверест. Для избежания дальнейших трудностей давайте предположим, что верно позднее, т.е.: используя техническую терминологию логики, давайте сконцентрируемся на случае остенсивного определения.

Тогда ситуация выглядит следующим образом. Мне показали Эверест и сказали, что его имя — "Эверест" — и в силу этих действий в прошлом теперь я способен иметь в виду под словами "гора Эверест" данный пик в Гималаях. До сих пор все хорошо. Но теперь мы вынуждены задать следующий вопрос: какова связь между этими действиями в прошлом и моим произношением слов "гора Эверест" теперь, которая придает этому моему выражению то значение, которое оно имеет? Что означает "следовать" определению? Опять существует поверхностный, очевидный ответ на такой вопрос: определение задает значение, и использовать слово в его корректном значении означает использовать его так же, как было заложено в определении. В некотором смысле, конечно, этот ответ будет весьма корректным и неизбежным; его единственный недостаток состоит в том, что он не разрешает философской проблемы, поскольку что означает использовать слово так же,

как это задано в его определении? Каким образом я решаю, таким же является данное предлагаемое использование или оно отличается от заданного в определении?

То, что этот вопрос не является праздным, показывает следующее рассуждение. Судя только по внешним признакам, остенсивное определение состоит просто в жесте и звуке, произнесенном в момент, когда мы пролетаем над Гималаями. Но предположим, что этим жестом мой учитель определял для меня слово "гора", как, возможно, было бы в случае, скажем, моего изучения английского языка? В этом случае мое восприятие правильного использования слова "гора" проявилось бы в продолжении использования его тем же способом, как оно было дано в определении. В то же время правильное использование слова "гора", конечно же, не совпадает с правильным использованием слова "Эверест"! Таким образом, очевидно, что слово "также" представляет для нас новый пример систематической не однозначности; мы не знаем, могут ли две вещи считаться одинаковыми или нет, пока нам ни говорят о контексте, в котором возникает данный вопрос. Однако, как бы нам ни хотелось думать по-другому, не существует абсолютного неизменного смысла слова "такой же".

"Но разве то же самое уж во всяком случае не является тем же самым?"

Кажется, будто бы мы располагаем безупречной парадигмой тождества — в виде тождества вещи самой себе. Так и хочется сказать: «Здесь уж не может быть различных толкований. Видя перед собой вещь, тем самым видят также и тождество».

Выходит, две вещи тождественны, если они как одна вещь? Ну, а как то, что показывает одна вещь, применять к случаю с двумя вещами?"¹

Я сказал, что особенная интерпретация, которую следует придавать слову "такой же", зависит от контекста, в котором возникает такой вопрос. Это можно выразить точнее. Только в рамках данного правила мы можем придавать специфический смысл слову "такой же". В терминах правила, управляющего использованием слова "гора", человек, который использует его для отсылки к горе Эверест в одном случае и к горе Монблан в другом случае, использует его тем же способом в обоих случаях. Но тот, кто отошлет к горе Монблан как к "Эвересту", не может считаться использующим это слово так же, как кто-то, отсылающий им к Эвересту. Таким образом, вопрос "Что означает для слова иметь значение?" приводит к вопросу "Что означает для кого-то следовать правилу?"

Давайте опять начнем с рассмотрения очевидного ответа. Хотелось бы сказать так: кто-то следует правилу, если он всегда действует схожим способом в схожих обстоятельствах. Но такой ответ, хотя он и является правильным, опять-таки не продвигает нас к решению наших проблем, поскольку, как мы уже видели, только в понятиях определенного правила слово "схожий" приобретает четкий смысл. "Употребление слова «правило» переплетено с употреблением слова «схожий» (Как употребление слова «пропозиция» — с употреблением слова «истинный»)"². Так проблема предстает в следующем виде: каким образом придается смысл слову "схожий" или в каких обстоятельствах имеет смысл говорить о ком-то, что он следует правилу в том, что он совершает?

Предположим, что слово "Эверест" только что было остенсивно определено для меня. Можно полагать, что я могу с самого начала задать то, что считать корректным использованием этого слова в будущем, если приму сознательное решение по этому поводу: "Я буду использовать это слово, только отсылая к этой горе". И это, конечно, в контексте языка, на котором мы говорим и который понимаем, будет совершенно осмыслено. Но, именно поскольку такой шаг уже предполагает существование института языка, на котором мы все говорим и понимаем, он не проливает никакого света на философскую трудность. Очевидно, что мы не имеем права предполагать заранее существование того, возможность существования чего мы исследуем. Прежде всего, так же трудно описать то, что означает "действовать в соответствии с моим решением", как и описать то, что означает "действовать в соответствии с остенсивным определением". Как бы усилен но я не указывал на эту гору и не произносил слова "эта гора", мое решение должно применяться в будущем, и нас интересует как раз то, что вовлечено в такое применение. Таким образом, никакая формула не поможет разрешить эту проблему, мы постоянно приходим к тому, что мы вынуждены описывать применение такой формулы.

Каково различие между кем-то, действительно применяющим правило, и тем, кто его не применяет? Проблема здесь в том, что любые серии действий, которые способен

совершать человек, можно подвести под ту или иную формулу, если только мы готовы сделать их достаточно сложными. В то же время то, что человеческие действия могут интерпретироваться как применение какой-то формулы, само по себе не является гарантией того, что он действительно применяет эту формулу. Какова же разница между этими случаями?

Представим себе человека — давайте назовем его А, — который пишет следующие цифры на доске: "13 5 7". Теперь А спрашивает своего друга В, каково продолжение этой серии. Практически любой в этой ситуации, не имея особых оснований для подозрительности, ответит: "9 11 13 15". Предположим, что А отказывается принять такой ответ в качестве продолжения своей серии, утверждая, что она выглядит следующим образом: "13 5 7 13 5 7 9 11 13 15 9 11 13 15". Потом он просит В продолжить с этого момента. В этом моменте у В имеется ряд альтернатив для выбора. Предположим, что он делает выбор, и А опять отказывается принять его, предложив собственное продолжение. И предположим, что так продолжается некоторое время. Несомненно, ситуация достигнет момента, когда В совершенно справедливо скажет, что А на самом деле не следует никакому математическому правилу, хотя все продолжения, которые он сделал до этого момента, можно подвести под какую-то формулу. Конечно, А следует правилу, но его правилом является всегда предлагать продолжение, отличное от предложенного В на каждом этапе. И хотя само по себе это очень даже хорошее правило, оно не принадлежит арифметике.

Конечная реакция В и сам факт того, что она будет совершенно оправдана, особенно если в игру вовлечено еще несколько человек, и А всегда отказывается принять предлагаемые ими продолжения в качестве парных, предполагает очень важную характеристику понятия следования правилу. Она предполагает, что необходимо не только принимать во внимание действия человека, который является кандидатом на следование правилу, но и реакции других людей на то, что он делает. Точнее, только в ситуации, в которой кто-то еще может в принципе обнаружить правило, которому следую я, можно осмысленно говорить, что я вообще следую правилу.

Давайте рассмотрим это более подробно. Важно помнить, что когда А написал "13 5 7", В (который представляет собой любого, знающего элементарную арифметику) продолжил серию, написав "9 11 13 15" и так далее, как само собой разумеющееся. Сам факт, что я могу написать "и так далее" после этих цифр и что я могу быть уверенным, что я буду понят так, а не иначе, практически всеми моими читателями, является демонстрацией того же самого. "Чтобы правило могло представляться мне чем-то, заведомо выявляющим все свои следствия, оно должно быть для меня само собой разумеющимся. Так же как само собой разумеется для меня называть этот цвет «голубым»"¹. Необходимо понимать, что эти замечания относятся не только к случаю применения математических формул, но ко всем случаям повиновения правилу. Они применимы, например, к использованию слов "Эверест" и "гора"; получив определенные навыки, каждый действительно, как само собой разумеющееся, продолжает применять эти слова так же, как и все остальные.

Именно это позволяет нам придать смысл выражению "такой же" в определенном контексте. Исключительно важно отметить, что следование одним путем, а не другим как само собой разумеющееся, не должно быть особенностью человека, чье поведение претендует на то, чтобы считаться повинующимся правилу. Его поведение принадлежит к этой категории, только если для кого-нибудь еще возможно понять, что он делает как само собой разумеющееся.

"Представьте себе, что кто-то так использует линию в качестве правила: он держит циркуль, одну ножку которого ведет вдоль линии — правила. Второй ножкой он проводит другую линию, соответствующую правилу. И, двигая ножку циркуля по линии правила, он, выказывая необычайную добросовестность, меняет величину раствора циркуля, всегда глядя при этом на линию, служащую правилом, как бы определяющим его действия. Мы же, глядя на него, не видим в этих увеличениях и уменьшениях раствора циркуля никакой закономерности. Мы не можем из этого усвоить его способ следовать за линией. В таком случае мы, пожалуй, сказали бы: «Кажется, что образец подсказывает ему, как нужно действовать. Но он не является правилом!»

Почему это нельзя назвать правилом? Потому что понятие "следования правилу" логически неотделимо от понятия "совершения ошибки". Если можно сказать о ком-то, что он следует правилу, это означает, что можно спросить, делает ли он это правильно или нет. Иначе в его поведении нет ничего, что позволило бы применить понятие "следования правилу" — тогда нет никакого смысла в описании его поведения таким способом, поскольку все, что он делает, так же правильно, как и то, что он мог бы делать, в то время как суть понятия "правила" в том, что она позволяет нам оценивать то, что было сделано. Рассмотрим, что включается в совершение ошибки. (Которое состоит, конечно, и в рассмотрении того, что включается в совершение чего-либо правильно.) Ошибка противопоставляется тому, что утверждено как правильное, как таковая она должна признаваться как такое противопоставление. То есть, если я совершаю ошибку, скажем, используя слово, другие люди должны быть способны указать мне на нее. Если это не так, я могу делать, что хочу, и не существует никакой внешней проверки того, что я делаю — т.е. ничто не утверждено. Утверждение стандарта не представляет собой деятельности, которую имеет смысл приписывать индивидууму в полной изоляции от других людей, поскольку именно только контакт с другими людьми делает возможным внешний критерий проверки деятельности индивидуума, который невозможно отделить от утвержденного стандарта.

Для избежания возможного непонимания здесь необходимо сделать пояснение. Конечно, возможно, в рамках человеческого общества, каким мы знаем его, с утвержденными языком и институтами, для индивидуума придерживаться частного правила поведения. Витгенштейн настаивает, однако, на том, что, во-первых, должно быть в принципе возможным для других людей понять правило и судить, правильно ли ему следуют, во-вторых, что не имеет смысла предполагать, что кто-то способен утвердить чисто личный стандарт поведения, если он никогда не имел опыта человеческого общества с его социально утвержденными правилами. В данном разделе философии нас интересует общая концепция следования правилу, поэтому мы не можем, объясняя то, что включается в эту концепцию, принимать за данность ситуацию, в которой эта концепция заранее предполагается.